

МОЯ ЖИЗНЬ ТЕЧЕТ В МОРЕ

Из поэмы



Перевод с испанского  
БОРИСА СЛУЦКОГО

Три десятилетия прошло с начала второй мировой войны. А за какие-то годы до ее первых залпов в газете «Известия» были опубликованы антивоенные стихи тогда еще не известного нашим читателям венесуэльского поэта и прозаика Мигеля Отеро Сильвы — «Солдаты, солдаты, солдаты...»

Ныне романы Мигеля Отеро Сильвы — «Лихорадка», «Мертвые дома», «Контора № 1» (в русском переводе «Город в саванне»), а также впервые увидевший свет на русском языке на страницах нашего журнала роман «Пятеро, которые молчали» — завоевали заслуженную популярность в Советском Союзе.

Мигель Отеро Сильва, став всемирно известным романистом, остается и виднейшим поэтом Венесуэлы. Значительным вкладом в национальную поэзию вошли его поэтические сборники «Вода и русло», «25 стихов», «Глупые симфонии», «Поэзия до 1966», его поэма «Хоральная элегия Андресу Элою Бланко», посвященная памяти венесуэльского поэта-патриота, погибшего в изгнании, большая философская поэма «Море — это смерть».

Эпиграфом к последней поэме Отеро Сильва избрал строфы великого испанского поэта-солдата Хорхе Манрике, который еще пять веков назад писал:

Наши жизни — это реки  
что впадают в море,  
а оно — смерть...

Отеро Сильва, однако, не приемлет мировоззрение Хорхе Манрике, исповедовавшего культ смерти и таившего надежды лишь на небесное блаженство. Венесуэльский поэт, горячо любящий жизнь на земле, своей последней поэмой — фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей, это вторая встреча с поэтом через десятилетия — утверждает волю к жизни, к борьбе за счастье человеческое. Поэма Мигеля Отеро Сильвы — вызов тем силам, что несут смерть, что намереваются обречь молодое поколение на гибель в новой империалистической войне.



Для чего — неизвестно.

Гойя

Музыка взрывается грохотом боя,  
поэзия задымлена порохом и злобой,  
пастыри проповедуют ненависть и насилье,  
патриотики воют свои волчьи речи,  
ученые высвобождают роковые формулы.  
Для чего — неизвестно.

Мужчины прикалывают друг друга без причины,  
студент проливает кровь хлеботороба,  
винтовка рабочего умерщвляет поэта,  
учитель заушает небеса и разрушает  
парты и парки, бассейны и качели.  
Для чего — неизвестно.

Невесты не помнят, какой день сегодня,  
любовницы плачут в своих вдовьих кроватях,  
матери безумеют от шагов почтальона,  
бабки влачат колыбели по свалке,  
дети все видят, дети все слышат.  
Для чего — неизвестно.

■ ■ ■

Вот что хуже всего.

*Гойя*

Вот что хуже всего: сражение уже завязалось,  
а для чего — неизвестно.

Побежденные, будто Христы, с головами,  
замотанными кровавыми тряпками,

униженные хлебом из муки пополам с дерьмом,  
который они ели, и гнилыми лужами,  
из которых они пили,

искусанные страхом, запыленные дозеленá,  
с дрожью древних молитв на устах,

все эти вшивые побежденные, волочащие  
культяпки в полутьме переулков на горе  
своим несчастным женам,

все они никогда не узнают, почему мерзкий  
хохот и подвернувшийся барабан возвещают  
их разгром.

Не узнают и победители, шествующие сквозь  
мешанину гвоздик, оркестров, платочков,  
сквозь уличный праздник.

Весь кортеж паладинов с сердцами, которые  
демон обнаружил под жестью медалей и  
изрезал,—

да будет проклят рев самолетов врага, цикада,  
мятущаяся в лабиринтах души и тайниках  
внезапного страха!

Да будет проклят призрак ползущих  
кишок и мозгов, кислотой выжигающий  
глазной хрусталик!

Несчастные победители никогда не поймут,  
почему их засасывает тряпина победы.

Еще меньше понимания у мертвецов,  
павших на колючую проволоку, на  
дно воронки, у входа в траншею,—

у двадцатилетних скульпторов, не успевших  
обжечь свою глину, потому что они были  
сожжены сами,

у прирожденных ученых и учившихся на ученых,  
теперь никто не распознает их кости  
в гнили трупов и гари мундиров,

у юношей, не узнавших любви,  
у крестьян, не узнавших августовской жатвы,  
у моряков без звездного неба,  
у испепеленного народа.

Павшие пали, не узнав, почему и за что, какой  
слепой импульс так грубо и рано рванул  
стрелки часа их смерти.

Мы рискуем только догадываться, что когда оживут  
нищета и страданье, когда история прославит  
их на своем гнусном языке,

тогда дети побежденных,  
дети победителей  
и цветы, зародившиеся из праха мертвых,

запылают на высоких кострах,  
сгорят в чудовищнейших лучах  
так, что не останется ни единого  
соленого семечка слезы,

если только,

если только  
мы не спросим себя: «Для чего?» —  
и не разобьем кулаки о молчавшую дверь.

Вот что хуже всего.

■ ■ ■

Чтобы страшиться смерти, надо обязательно быть  
живым,

владеть совестью света,  
слышать адажио воды,  
обнажаться по призыву огня,  
выжимать янтарный плод, пружинящий  
в руке,—  
вот что значит страшиться смерти.

Мертвые, бедные мертвые не боятся ничего,  
ни рождения, ни жизни  
и тем более смерти:  
мертвые не могут чувствовать,  
а страх смерти — это чувство, в этом  
нельзя сомневаться.

Чтобы страшиться любви, надо быть раненным  
любовью,  
ее стрелой,  
жаждать еще одной  
и бодрствовать в лесах снов.

Страшиться потерять страх —  
вот что значит бояться любви.

Любовники, бедные любовники  
продолжают страшиться любви,  
полулюбви, почти любви  
и особенно забвения:  
забвение — смерть, но не приносящая отдыха,  
потому что слышны любые шаги,  
кроме шагов любви,  
кроме шагов любви.

■ ■ ■

Философ встал в дверях и сказал:  
«Смирись со смертью, потому что она неизбежна».  
А ведь «неизбежна» — только слово,  
слепое, как скала,  
о которую разбивается горящее сердце человеческое.  
А ведь «неизбежно» — только понятие,  
режущее, как нож,  
обезглавливающий наше восприятие,  
обескровливающий нашеприятие.

Другой философ встал в дверях и сказал:  
«Смирись со смертью, ибо все смертны».  
Как будто чужая смерть  
озаряет нас утешением,  
а не леденит мраком,  
заставляющим принимать ее к сердцу  
ближе, чем свою собственную смерть.  
Как будто смерть  
друзей, женщин, птиц и деревьев  
не вызывает в нас той же безнадежности,  
как и наша собственная смерть.

И, наконец, еще один философ  
встал в дверях и сказал:  
«Смирись со смертью, потому что есть  
иная жизнь».  
Как будто мне неведома судьба  
мяса мертвых,  
костей мертвых,  
праха мертвых,  
как будто я не знаю,  
что все в мире  
состоит из частиц людей,  
павших тысячи, миллионы лет назад  
и рассеянных навсегда.

Пьянчуга из нашей деревни встал в дверях  
и твердил:  
«Единственный способ смириться со смертью —  
не вспоминать о ней,  
никогда не вспоминать о ней».  
Он не был ни мистиком, ни философом,  
не знал книжной премудрости,  
но в сиянии вина ему мерещились  
и разум и глупость.  
Вот так он жил, пьянчуга и смиренник,  
никогда не вспоминая о смерти,  
пока однажды,  
в понедельник вечером,  
смерть  
сама не вспомнила о нем.

■ ■ ■

Кто сказал, что смерть — мрачная чаша,  
ревуший поток, мчащий скелеты,  
косые молнии, озаряющие полночь,  
голодная сука, скулящая на звезды?

Кто сказал, что смерть — частокोल сабель,  
выбеленная стена без конца, без края,  
воздух, лишенный птиц и насекомых,  
горящий песок под стронциевым небом?

Кто сказал, что смерть — серафическое сиянье,  
вознесение пыли по золотым спиральям,  
возвращение восвосяси,  
очаг, задутый неким богом?

Смерть — это море, как сказал Манрике,  
море и ничего боле.

■ ■ ■

Спускаюсь по заросшему ежевикой склону.

Слышу

тигров, рычащих на утесы.  
Клокот, дрящущий веками,  
язык космоса, непонятный даже богу,  
монотонные удары воды,  
которую не высушит даже солнце:  
море.  
Оно же — смерть.

Стою и слушаю птичьи пересуды,  
контрапункт, застывший меж верхушек  
сосен.

гимны, скрытые в складках ветра;  
я присоединяю к общему хору  
свой крик, свое сердце,  
но громче всех голосов — голос  
моря.

Оно же — смерть.

Пересекаю белые дюны,  
и позади меня остаются  
следы сандалий, как застылые чайки.  
Без меня ткёт свой холст Пенелопа.  
Язык Цирцеи вплетается в память.  
Но сильнее всех пульсов  
биение пульса  
моря.  
Оно же — смерть.

Скрежещу парусами о синий нож ветра,  
пена смывает старость с корабельного носа.  
В сетях, как соломинка, бьется утро,  
но в глубине — кладбище потонувших кораблей,  
и глаза утопленников мерцают в волнах  
моря.  
Оно же — смерть.

Я теряюсь в его чаще так же, как реки,  
превращаюсь в ничто так же, как реки,  
но море сочетает мои ткани в водоросли,  
перламутр о мое чело полирует  
и, перебирая мои позвонки,  
играет на них свои псалмы —  
море.  
Оно же — смерть.

■ ■ ■

Моя песня мчится к морю.

Старые кедры вздымают стволы,  
как прародители воды и тени,

молодые кедры прячут корни  
в залежах руды и вплетают кроны  
в бушприты урагана,

хабилы скрывают под шершавой корой  
твердый и белый живой мрамор  
своей древесины,

нагое сияние цветов  
освещает мои воздушные витрины.

Мои соки текут в море.

Попугаи вздымают зеленые стяги  
и алые флаги в ущельях зари.

Между берегом и берегом, между  
лесом и лесом скрещиваются  
мирные и добрые стрелы — это цапли.

Ягуары вдыхают в тесноте лиан  
тяжелый желтый запах сельвы.

Рыбы плывут вместе со мною.  
Их кинжалы вспарывают лоно  
воздуха, пробивают в нем дорогу.

Моя кровь течет в море.

Мои стоки видят кривые контуры хижин  
без дыма и без надежды на завтра.

В моих водах отражаются взоры  
метисов из деревни, забытой на бескрайней  
равнине.

Мои притоки несут гитарное треньканье  
и песню, охрипшую от рома.

В моих заводах купается голая  
женщина, всегда одна и та же.  
Хотя мое сердце трижды, как  
апостол Петр, отреклось от нее.

Моя жизнь течет в море.

